



Александр ЕВСЮКОВ

МОЯ ВДОВА

Александр Владимирович Евсюков родился в 1982 году в городе Шёкино Тульской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал охранником, грузчиком, археологом, журналистом, литературным редактором. Прозаик, поэт, литературный критик. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Роман-газета», «День и ночь», «Наши современники», «Новый свет», «Нева», «Дон», «Гостинный двор» и др.; коллективных сборниках издательств «Эксмо», «Никея» и др. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы им. А.П. Платонова (2011), российско-итальянской премии «Радуга» (2016), Первого международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018), международного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» (2017, 2019, 2021), Всероссийской премии им. В.П. Астафьева (2020). Живёт в Москве.

*Король я но умру бродягой
под забором
Сжав зубы я гляжу как мечутся
мечты
Наивные мечты с печальным
детским взором
Но Смело в путь кричит мне
ветер с высоты*
Гийом Аполлинер

Не забудь того момента, когда всё поменялось. После тебя и того разговора. Прошу, не забудь, пусть даже тебя здесь рядом уже не было. Но, вопреки очевидно-сти, мне кажется, я почти уверен, ты всё видела и знаешь лучше меня, поэтому поправляй, если что-то не так понял. Поправляй, если собьюсь...

Мне удалось приподнять свою отяжелевшую голову, оглядеться вокруг в тусклом желтоватом свете последней уцелевшей лампочки и вдруг отчётливо осознать, что нужно всё стереть. Что вся эта мазня не стоит холстов и картонок, когда-то чистых, а теперь замаранных. И что такая жизнь,

в которую вляпываешься, как в коровью лепёшку, — сплошная нелепость. Меня неудержимо заколотила похмельная дрожь.

...не помню, сколько так трясло мой жалкий организм на продавленном липком диване; помню, что стало холодно, как только я высвободил руки из пиджачных рукавов, рот пересох, и поджатые пятки чуть не ударились о мою собственную задницу. Казалось, это никогда не кончится, пока я не сполз с края дивана, не встал и, споткнувшись о глухо зазвеневшую пустую бутылку, добрёл до зеркала, протёр его рукавом и отодвинулся. На меня растерянно глядело чужое обрюзглое лицо с бледными выцветшими глазами. Нижняя губа обвисла, а под левым дёргавшимся оком я рассматривал следы гематомы. «Таким только детей пугать», — проплыло в голове. Я отступил к стене, осмотрел несколько развешанных на ней картинок с жёлто-фиолетовым фоном, наткнулся на покинутую пауком бесхозную паутину с высохшей зелёной мухой и с внезапной ошеломляющей ясностью понял, что там, в зеркале, — это я... Именно таким бывает осознание своего нового возраста. Хлоп — и тебе уже не двадцать пять. Хлоп — уже не тридцать три. Хлоп — и даже не сорок. И треть моих одноклассников уже лежат в земле, под тяжёлыми камнями или вбитыми в землю крестами, и они ничего, ничего по себе не оставили, и я тоже не оставлю, хотя и могу издали показаться живым.

Несколько неуклюжих шагов, неловких движений — и вот уже панику сменяет бессилие. Мои руки привычно опускаются. Тебя здесь нет, тебя не должно здесь быть, но это же ты, как Джоконда, смотришь на меня с чужого недописанного портрета. Смотришь сначала с сочувствием и тенью улыбки, потом с жалостью, которая всё больше наливается презрением.

Я не выдержал взгляда, захотелось сжаться, спрятаться. Отползти. Наконец-то я что-то понял не в устройстве Вселенной, не в закономерностях истории человечества и даже не в цветовой палитре, давшей гениальную картину. Просто в своей комнате.

«Надо прибраться, надо хотя бы прибраться», — застучало в голове. Надо, надо, надо. В комнате и во всём доме. Если даже погрёшь, нельзя оставлять мир во всём этом.

Сознаюсь ещё раз, я не узнал тебя там, у кассы. Чуть-чуть кольнуло под левый бок, но нет, не узнал.

С утра всё было тихо. Директор уехала отчитаться о нашей грандиозной работе. И ни одного посетителя. Только мухи сонно жужжали себе под потолком. В самом деле — школьников нет. А кто погрётся в наш захолустный музей ради улучшения своих познаний в краеведении? Я кивнул Ираиде Павловне, вышел на задний дворик и, стоя на крохотном крыльечке, отхлебнул пиво большим успокаивающим

глотком. Где-то там вдалеке, над излучиной Дона, чуть приплясывая, дрожало марево. Самой реки оттуда не видно. Вот и пятница, лениво подумал я, и опять жара. Всё как всегда. Но в эту пятницу всё должно было быть по-особому. Уж это ты точно знала лучше меня. Ираида Павловна посигналила мне нашим условным стуком. Я спрятал ополовиненную банку и, слегка одёрнувшись, вернулся в зал. Одет я был в своей обычной весенне-летней манере: чуть стоптаные удобные сандалии, длинные брюки и совершенно неуместный вне музейных стен тёмный пиджак с большим растрёпанным цветком за лацканом. Да-да, я привык выставлять напоказ чудачества и спасаться шутовством.

— Кто это там? — спросил я с деловитой развязностью.

— Хотят экскурсию.

— А на сколько человек?

— На одного.

— Пусть подождёт ещё троих желающих, — возразил я. Водить кого-то спозаранок и целый час разливать соловьём мне сейчас совсем не улыбалось.

Но не успела Ираида даже нахмуриться, как из «предбанника» раздался хрипловатый женский голос, не очень громкий, но уверенный:

— Я заплачу за экскурсию на четверых.

Ты вышла из-за узкой стенки — в тёмных очках и в шляпе, такая нездешняя, почти невозможная, и

вот в этот момент у меня кольнуло в боку, но я всё-таки не узнал тебя сквозь прошедшие девятнадцать лет и два месяца.

Ираида Павловна смущённо отсчитала сдачу и, бросив на меня укоризненный взгляд, улыбнулась госте:

— Наш дорогой Вильгельм Степанович проведёт экскурсию в лучшем виде.

Спасибо, что не уточнила должность. Это очень неловко в мои годы — зваться младшим научным сотрудником. То есть обычно — перед кем-то другим — мне бы было всё равно, я знал, как легко отшутиться, но в этот момент стало бы неловко.

— Да, конечно, — я подбочился, стараясь принять свой самый солидный, даже напыщенный вид, и начал: — Итак, всего у нас три зала. Первый относится к периоду ранней античности, а лучшая находка — наша гордость — шлем Скифского царства...

Ты шла и слушала, то и дело оказываясь позади на том погранично близком расстоянии, которое вызывало беспокойство. Не задавала вопросов, и за тёмными очками было не разобрать, интересно ли тебе хоть что-то из того, что я здесь несу. Я всё время помнил, что из-за моей прихоти ты заплатила за четверых, поэтому ещё сильнее хорохорился, повсюду указывал пальцем и сыпал датами. Я изнемогал, пытаюсь увлечь тебя тем, что давно уже опостылело мне самому.

— Хотите о чём-нибудь спросить? — уточнил на выходе из зала и обернулся.

Ты оказалась совсем близко.

— Да, — меня едва не обожгло этим страстным шёпотом. — Как целовались скифы?

Я жалобно кивнул на муляж видеокамеры, висящий в углу зала:

— Определённых исторических свидетельств не сохрани...

— Но точно без порошкового пива с утра? — это было похоже на выстрел в пах.

— Вы что думаете — я миллионер? — и мне самому стало противно от собственного скулящего голоса.

Тут ты покачала головой и, наконец, сняла свои тёмные очки. Ты прищуривалась всё так же, только мелкие морщинки разбежались вокруг по-прежнему ярких зелёных глаз. И именно те морщинки убедили меня, что это правда.

— Думаю, просто пугливый постаревший мальчик, — проговорила ты без малейшей грусти, словно вспомнила строчку из характеристики.

Голова мотнулась вниз — от такой неожиданности я готов был согласиться с чем угодно.

— В последний зал я не пойду, — твои слова с трудом до меня доходили. — Будь вечером в «Чайке». И, пожалуйста, не пей сегодня.

— Подожди... — мой голос снова предательски дрогнул. — Вот...

Я сглотнул и судорожным движением попытался выдернуть цветок из лацкана, но растерзанный бутон отвалился без стебля. Твои пальцы скользнули по моей ладони и легко его подхватили.

— Сегодня в семь.

...Я медленно, как на плаху, шёл по вечной улице с пирамидальными тополями. Знойное солнце уже валилось к горизонту и слепило даже под козырьком моей кепки...

Плюхнулся за столик возле бара, но уже через пару минут меня оттуда согнали (он вдруг оказался зарезервирован) и указали на место в углу. Пришлось перебраться туда. Признаю, что не исполнил твоего пожелания. Но это же рабочий день закончился раньше! И, как ни долго плёлся, попал я в «Чайку» тоже раньше. Совершенно не знал, куда себя можно деть, томился и маялся, и вот через пятнадцать минут внутренней борьбы прибегнул к испытанному рецепту: принял для храбрости и, согрев нервы и потроха, блаженно ухмылялся. Я вспоминал про нас. Прежде, чем ты уехала, а я оказался подлецом. С тобой, с той Аней, у меня был недолгий и горький роман в юности. ...Ты помнишь, как всё начиналось? Всё было впервые и вновь...

Я завоёвывал твоё внимание и стал рисовать, как безумный, и какие подавал тогда надежды... Самые большие надежды в моей

жизни. А потом, когда мы поцеловались и в абрикосовом саду произошло нечто большее, ты вся стала моей, я был счастлив. Я носил в себе это счастье, как Мадонна младенца. Ждал каждой встречи, точно знал, как пахнут именно твои ресницы после купания и как всегда взмывают, чтобы упасть на плечи, волосы, когда стихает ветер, и, главное, как выступает крохотная капля пота на верхней губе, и ты вся исторгаясь в безмолвной волне восторга. Эта наша с тобой сокровенная вечность продолжалась неполных две недели.

Тебе прислали срочную телеграмму, надо было уехать к тяжелобольному отцу за много километров, и ты взяла академ на своём факультете. А у меня не нашлось уважительных причин, чтобы отправиться с тобой в дорогу. Знаю, в нашу последнюю ночь перед твоим отъездом ты хотела от меня ребёнка. Конечно, мне ты этого не сказала, но можно же почувствовать, считать без слов. Не думай, что мужики такие деревянные! Женщина по-другому двигается, по-другому прижимается и замирает. Тогда я вдруг понял это. Понял и оторопел, как будто в миллиметре от моих пальцев, ободрав кожу, с лязгом захлопнулся волчий капкан. Не смог быть мужиком, как был раньше. И как потом — тоже. Но тогда казалось, что это ничего не значит, — я как-то легко и приподнято нёс твои чемоданы на станцию, гордый, что помогаю

тебе, и одновременно опечаленный, что мы так скоро расстанемся на неизвестный срок.

Я закончил ещё две картины, написал тебе вдогонку несколько писем и решил, что могу ненадолго расслабиться, у меня только-только появился свой дом: родители перебрались в старую квартиру, полагалось справить новоселье. И вот товарищи потянулись на свободную хату. Я выставил на стол всё, что было. Они приносили с собой и поднимали тосты за мои успехи. Так прошло несколько вечеров подряд. Я не умел отказываться, и у меня, напившегося и ослабевшего, сама собой завелась другая женщина. Сначала я отмахивался от неё, как от мухи. Она, недовольно жужжа, кружила и возвращалась почти на то же самое место. И ещё беспрестанно мной восхищалась. А на письма к тебе всё не было и не было ответов. Видимо, твой отец всё никак не выздоравливал и не умирал. И я купился на эти её льстивые восторги. И оправдал себя подозрением, что у тебя там кто-то есть. Должен быть — и никак иначе.

Через три месяца после отъезда ты вернулась от отца, и добрые люди тебе, конечно же, всё рассказали, а потом ты пришла и увидела сама. Помню, как менялся твой взгляд, как он угасал и разгорался уже другим пламенем: сначала ты смотрела на меня как на падшего титана, а потом уже как на червяка. В словах, в каких-либо пояснениях не было

смысла. Но это была картина. Если бы только я мог упрямить и написать тебя тогда! Ненавижу себя за то, что в такой момент подумал об этом. Но, конечно, ты развернулась и ушла. Пригвождённый, обессиленный, я был не в силах встать, просто подняться. Разве можно так ослабнуть? Лежишь потрошённой заживо рыбой и только плавниками шоркаешь. Как будто вырвали из тебя всё, кроме острого, колющего всеми углами стыда.

Потом я стал сомневаться даже в том, что ты вправду приходила и смотрела, и это всё мне не привиделось. Но нет же, видел. Видел. Я не мог придумать этот взгляд. Ту муху, которая уже перестала ластиво жужжать и принялась было командовать по-хозяйски, я всё-таки выставил к концу недели. То есть не выставил, конечно, а выжил. Прикинулся, что помираю. Стал просить принести одно и срочно купить другое. Когда до неё дошло, сколько хлопот ей со мной предстоит, сама сбежала. Было ещё несколько мимолётных женщин, а потом не осталось ни одной...

Ты приезжала несколько раз, и однажды мы почти столкнулись у прилавка магазина. Это ведь неизбежно в таком маленьком городке. Что-то важное по-прежнему связывало нас, как пуповина. Я набрался нахальства и спросил:

— Всё ещё дуешься на меня?

Прошло несколько звенящих нескончаемых секунд, а потом ты покачала головой:

— Нет.

— Тогда что?

— Ничего, сойди с дороги.

Нахальство с меня сдуло, однако я всё равно увязался следом и выпрашивал, вымаливал, вытягивал из тебя хоть слово о прощении. Но так и не вытянул. Ты закрыла калитку прямо передо мной и в тот вечер больше не вышла.

Я заказал ещё половину графинчика и, когда ты пришла, уверился, что готов к любому разговору. На тебя оборачивались. Официант, бармен, все трое мужчин за тем столиком, из-за которого выгнали меня. Увидев, куда ты подходишь и как неукложе, но старательно я отодвигаю для тебя стул, они так и вытаращились.

— Привет, Гийом, — сказала ты. Ты звала меня всё так же, на французский манер.

— Здравствуй...

Благодаря тебе я когда-то примирился с этим своим дурацким именем. Оно ведь означает «желанный защитник». Но какая же несусветная глупость, особенно здесь в степи — Вильгельм Синеев, донской казак. Вот почему именно меня? Не брата, не собаку!

Мои родители не надеялись на большое будущее, не прочили меня ни в какие дипломаты. Да нет же, дурканули просто, захотели выделиться. Конечно, в молодые годы я через силу распушал хвост и наводил тумана, но имей в виду, на самом-то деле меня называли в честь коммуниста Пика,

а не императора Гогенцоллерна. Но в этом я сознался только тебе. Всё-таки император, даже самый скверный, звучит внушительнее любого коммуниста. В детстве меня прозвали Вильмошкой-кочерёжкой. Издевались, что говорить. А я никогда и ни от кого в школе всерьёз не отбивался, и вскоре меня перестали трогать, я стал кем-то вроде блаженного. И потом не трогали. Ну, почти. Больше всего мне нравилось рисовать и читать, читать и рисовать. Это меня так затянуло, что местная библиотека скоро кончилась, а с карандашей я перешёл на кисти.

— Как твои дела, Гийом?

Ты ведь нарочно надела именно такое платье? Как же оно похоже на то, в котором ты тогда уходила от меня! Похоже, только чуть другого оттенка...

— Как видишь. Пока живой, — я не знал, как теперь к тебе обращаться: Аня? Анна? Сударыня?

— Это ненадолго, — ты кивнула на графин с остатками водки. — Ты всё равно напился, зачем?

— Наверно, стал слишком много всего знать. Сколько раз мне приходилось пить, чтобы опуститься на их уровень, как говорят гопари, — стать проще. Как тут найдёшь самого захудалого собеседника, если он тебе не собутыльник? А выпил — и всё прояснилось, вмазал — и понеслась.

Думаешь, это вечная нелепая отмазка? Может быть, потом, а сначала именно так всё и было.

— Но ты же шёл не к кому-то. А со мной опускаться в интеллектуальный подвал не надо.

— Ладно, попробую, — и попытался изобразить на лице непридуманную усмешку. Наверно, очень плохо получилось?

— Скажи, ты сам доволен такой жизнью?

— Не-а, — я мотнул головой. — Но у меня ничего и не должно было получиться.

— Это почему?

Хотел было заикнуться про свою заурядную провинциальную семью, но успел одёрнуться. У брата-то ведь многое получилось.

— Я же трус.

— Да, ты повёл себя как трус. Но все в чём-то трусят.

— Но я-то во всё! Я убегал от всего хорошего, что мне попадалось в жизни. Два раза у меня всё было, и оба раза я всё пролюбил. Первый был с тобой — и потом... Только там совсем другая тема.

Тут я обвёл кафе мутным взглядом и отделался самыми общими словами. Поэтому скажу сейчас.

Этого ты не знаешь. Однажды мне в руки попали деньги. Не гроши, как обычно, а деньги. Просто утопическая для меня сумма, хоть и завёрнута в пакет с дыркой. Тогда я ещё как-то рыпался и, кроме привычного огорода, выезжал в соседний город на приработки. Там живописнее, ну и туристы заглядывают. Чуть свернёшь от автостанции, и сразу

удобная такая площадка: с одной стороны — обрыв реки, с другой — старинная городская застройка. А в тот день ещё и ярмарка была. Приехал и сел скромненько наособицу от местных, так чтобы не слышать, как они ворчат, или тумачат от кого-нибудь случайно не выхватить. Первый хрустальный ледок на лужах, рукам без перчаток холодно.

И вот подходит ко мне пацанище из крутых, с золотой печаткой такой вот, но весь на каком-то непонятном мне взводе. Я это сразу чую, жизнь приутихла. Он мимо всех прошёл, я последний. В упор смотрит и спрашивает: давно сидишь, мол? Давно, тут же киваю; и отвечаю ему так аккуратно, чтобы ничем не огорчить. А он глазами по сторонам рыщет в поисках кого-то — и не находит. Как-то слово за слово, вроде понравился я ему, успокоил, расположил. «Ну, намалой меня, раз умеешь», — говорит. Я-то рад стараться, беру и малюю без особых изысков, так, чтоб сходство было. Вот уже и черты проступают, лоб, глаза, скулы. Хорошо идёт, бойко. Фон намечаю — и вдруг вижу, чувствую что-то тревожное, тоскливое. Как будто живой человек — и неживой уже. Какое-то зыбкое пограничье. А остановиться нельзя, а то занервничает клиент, огорчится. И меня заодно может огорчить.

Вдруг из-за спины потянуло тиной. Я аж подскочил на складном стуле. А это рыбак с ведром

и с закидушкой сзади тихо встал, смотрит такой, кивает. В ведре у него бьётся кто-то, брызги пускает, пока ещё живая рыба, но уже ясно, что без пяти минут уха. Вот же прошибло меня до пота, портрет этот еле дописал! Всё, повернул, показал работу. Очень ему понравилось, сразу вытащил одну крупную купюру и забирает. От сдачи отмахнулся и отошёл было метров на двенадцать. Но вдруг опять идёт ко мне и, вижу, косится на двоих крепышей в сторонке. Откуда уж они вышли, не заметил, но явились эти бандоганы, как я понял, неспроста. Он нарочно стал к ним спиной. «Подержи у себя, фразерок, — приказывает шёпотом и быстро-быстро суёт мне свёрток, толкает в душу, — я потом приду. Дождись тут». Сунул, отошёл как будто вразвалку, а потом развернулся и рванул вниз по той же тропке, по какой приходил рыбак. Те двое чуть выждали — и за ним следом. А я промаялся там допоздна. Ярмарка разъехалась. Мазилы местные все разбрелись. Продрог, как псина бездомная. К вечеру нарисовал эскиз заезжего австрияка и ещё семейный портрет в пастельных тонах. Карандашом штрикую, потом кистью вожу, а сам только про свёрток за пазухой и думаю. Пацанище так и не пришёл, и пришлось мне домой тащиться на самом последнем автобусном рейсе. Из пакета картон замотанный просвечивает, но тронуть его боюсь.

Через день опять вернулся, прохожу с мольбертом мимо местных, а они все в одну кучку сбились и шушукаются. Когда я нарочно остановился возле них, на секунду притихли, а потом один шепелявый так напрямую и говорит: ггофнули тфоего клиента. Наглуфняк, такие дела. Не убежал от судьбы, — другой бороду гладит и добавляет. А портрет он насмерть зажал, не выронил, — это уже не помню кто, слева. И в нём две дырки, и в портрете. Хофефь на опознание сфездить? Где могг — покажем.

— Не хочу, — шёпотом отвечаю.

— Ну, хоть сигареткой угости за такие новости!

А я стоял ошарашенный и охлопывал себя по всем карманам, пока не вспомнил, что не курю. Вернулся домой и только тогда за запертой дверью и с опущенными шторами надорвал свёрток. А там — две пачки баксов и в скрутке рубли.

Кажется, радость — деньги, вот они. А я такого страха тогда натерпелся. Если присяду, то на каждый собачий брёх вскакиваю. Не знал, что с ними делать вообще. Раз вытянул две бумажки по сто тысяч, пошёл пожрать в бистро. Не в «Чайку», а в старое бистро, которое раньше было. В меню потыкал — принесли. То принесли или не то, не знаю. Мне бы в тот раз хоть свиных хрящей задали вместо арбуза, не отличил бы. Что ел? Что пил? Никакого вкуса не помню. Знал только,

что дорого, и всё казалось, должны меня обязательно поймать. Руку на плечо положат — и нука, пошли с нами, браток. Думал родителям часть незаметно подкинуть, да они сами такие же честные и боязливые, переполошил бы их только. Где брат, я точно не знал. Стал думать, как быть, и надумал. Звал собутыльников, а сам выкладывал находку на видное место, намекал им, чтоб забрали. А они ни в какую, заложат свою норму за воротник, погрозятся друг дружке рыла начистить и не лезут никуда. Ничем не интересуются, как амёбы. Ну и суммы такой боятся — куда с ней тут денешься? Три раза пробовал, да только водку на них извёл.

Совсем было затосковал, зачах, как Кашей над золотом, но тут, на счастье, объявился брат мой, экономист Серёжа. Я сразу понял, что дела у него не пошли. Вскользь упомянул в разговоре про злосчастный свёрток, но где лежит, не уточнял, хотел утром ему предложить, чтобы забрал. Но только поутру братца уже след простыл. Вот кому ни на что намекать не пришлось — сразу ото всех шальных денег меня избавил. По новой раскрутил свой бизнес и долго сюда носа не казал. Доходили только слухи про его рестораны, машины с доставкой еды и даже про собственную галерею. Не знаю, стыдно ему было или, правда, некогда. Но с этого-то свёртка его бизнес и пошёл в гору.

Зато когда это богатство пропало, не поверишь, какое я испытал облегчение! Такое, что до самой зимы дверь входную не заперал...

Постепенно вышла из меня вся та глупая уверенность в своём исключительном таланте, в том, что я непременно вознесусь и всё обязательно получится. Покрутил фильмы киномехаником, пока наш кинотеатр окончательно не прикрыли, покружился репетитором по детям очень средних способностей, пока однажды меня не пристроили сотрудником в музей. Жил я рядом с родителями, но вместо радости стал их вечной скорбью. Однажды они вместе накопили денег со своих пенсий и подарили мне дорогостоящую и, как им казалось, модную дублёнку. Это выглядело жестом отчаяния. Я, смущаясь, благодарил их за эту непомерно дорогую вещь, которая на мне выглядела, как седло на корове. Вскоре я её изгваздал, а потом передарил корешу с недостаточно высокими устремлениями, как тот носатый пацан из перестроечного фильма.

Время от времени, когда всё надоедало, я выходил на мостки, закидывал удочку и ждал. Обычно клевала мелкота, радость соседским кошкам. Но несколько раз неторопливым силуэтом другой жизни приподнималась из глубины и проплывала мимо неизвестная мне огромная рыба.

Мы с братом дважды встречались. Оба раза на похоронах. Отец, а следом и мать умерли, так

и не дождавшись от меня ничего путного.

— А как у тебя? Всё путём?

— Не жалею. Гийом, я покажу тебе фото. Ты любишь фотографии?

— Честно? Не особо. Вредное изобретение. До них были только мы, художники. Шахматисты, знаешь ли, недолюбливают шахматистов, а я вот — фотографов.

Ты нажала куда-то в свой смартфон и показала мне.

— Это двое моих детей.

Я уставился в экран, фокусируя взгляд.

— Очень красивые, особенно девочка. И пацан хороший. Он то точно — в тебя, а девчонка...

Ты убрала смартфон в сумку.

— В мужа. Он умер от онкологии. Боролся с ней, сколько мог.

— Твой правильный богатый муж?

— Он никогда не был таким уж правильным. Да и богатым тоже.

Я долил в стопку последнюю водку из графина и сказал:

— Пусть ему будет спокойно, где бы он ни обретался сейчас. Ты знаешь, я в Бога не верю, но что-то там должно быть... Какая-то контора, место сбора.

— Это Бог однажды устанет верить в тебя, — отозвалась ты.

Я икнул:

— Ну и правильно, пусть не верит. В кого тут верить? Да откуда ты вообще взялась?

— Один общий знакомый сказал, что видел человека, который доживает свою никчёмную жизнь.

Сочиняет сальные стишки. Того, кто пытается уколоть других и только сильнее укалывается сам...

На меня накатило. Я не соби-
рался выслушивать такое о себе.

— В наказание за грехи проору
свои стихи!

Тут оглянулись уже на меня.
И пускай. Прав он, этот знако-
мый! Только не убеждай, что я
мог стать гением. Не трави душу!

— Счёт принеси! — крикнул
вдогонку официанту.

Встал и доковылял до убор-
ной. И всё время чувствовал, что
ты внимательно смотришь мне в
спину.

Когда вернулся, ты выглядела
другой.

— Слушай, не буду тебя убеж-
дать, Гийом, — сказала ты. — Раз-
говор-то не об этом. Хочу сделать
тебе одно предложение. Я хочу
стать твоей вдовой. У нас ниче-
го не будет, мне просто нравится
твоя фамилия. Хочу проводить
тебя в красивом гробу. Обещаю,
я провожу тебя так, как никто
больше не проводит.

— Ты что такое городишь? — я
думал, что ослышался.

— Раз ты всё равно собрался
на тот свет и от твоей жизни не
будет никакого толка, поторо-
пись, пока у меня есть на тебя не-
много времени.

— Такого мне никто не пред-
лагал, — огорошенон пробормотал
я.

— Знаю. Запиши мой номер.

И ты отчётливо продиктовала
мне десять нужных цифр. А я вы-
тащил из кармана пиджака ручку

и стал оторопело выводить их на
салфетке.

— Позвони и скажи, что ре-
шил.

На прощание ты наклонилась
и поцеловала меня. Страстно,
по-настоящему, как в последний
раз. Когда я снова спросил свой
счёт, оказалось, что ты его уже
оплатила.

Не знаю, чего ты на самом
деле хотела, но меня ты спасла.
Посмотрел на себя, и как будто
пузырь лопнул. Я прибирался
в хате поздней ночью до первой
робкой полоски света на востоке.
Вычищал, перетаскивал и отдра-
ивал, громыхая и спотыкаясь.
Очень боялся, что если сейчас
собьюсь, если только прилягу на
диванчик, то это всё меня уже не
отпустит. К утру комната была
готова, осталось только уткнуться
лбом в чистое прохладное стекло
и смотреть, как солнце заливает
степь. И не желать опохмелиться,
а впитывать, уместать в душе всю
эту красоту.

Я поснимал со стен мазню по-
следних лет и сложил всё в сарае.
Пришлось занять на холст и но-
вые краски. Ещё через сутки от-
просился с работы и три дня ез-
дил к озеру. Выбрал самое тихое,
незамутнённое место и несколько
раз заходил отмываться от себя
прежнего. А затем очертя голову
бросился в работу. Руки понача-
лу заметно тряслись. Особенно
страшно было за мою правую.
Она подводила меня раз за ра-
зом. Как же было страшно, что

никогда уже она не станет твёрдой и уверенной. Но она всё-таки стала.

Всем, кто спрашивал, я уверенно сочинял, что закодировался. Однако прежние кореша не сразу в это поверили и нарочно заживали выпить у меня во дворе. Проверяли. Ну а я им с огорода закуску вынесу, порадуюсь за них, а сам ни-ни. Пусть скажут, что я тряпка. Но нет, это раньше я был тряпкой.

Осенью у меня купили этюд, заказали большую картину. Предложили сделать выставку в области, а затем ещё одну. Недавно заезжал брат, как следует пригляделся и забрал несколько пейзажей в свою галерею. А вот эта картина, знаю, канет в вечность...

Но как я хочу тебя услышать! И как ненавижу за то, что не могу ничего тебе сказать. Как так можно? Тварь! Что ты такое надиктовала вместо своего номера? Я нашёл, тут же выставил и потом не раз сбивал с комода твою старую фотографию. Думаешь, побоюсь сказать? Нет. Я хочу, чтобы мы были вместе хотя бы час. Неужели что-то неправильно записал тогда? Но я же слышу каждую цифру твоим голосом, слышу, как ты мне её диктуешь. А вдруг всё

равно что-то перепутал? Пробовал подбирать, и мне десятки раз сообщали, что я ошибся, ошибся, ошибся; и должен был извиняться перед недовольными голосами из Ростова и из Челябинска, из Питера и из Салехарда, из Перми и из Ангарска. Если бы только ты сказала, что терпеть не можешь мой козлетон, что будешь рада придушить меня своими руками! Как я буду благодарен даже за это! И ещё за то, что теперь не всё моё прошлое надо стереть или вынести на помойку. Сейчас я, насквозь трезвый, рыдаю, и мне совсем не стыдно за это.

Вот снова пробую дозвониться до тебя. И снова убеждаюсь: «Абонент не зарегистрирован в сети».

Пока это всё. До свидания, дорогая моя Аня. Но если бы ты, живая и горячая, была рядом, и вдруг проснулась среди ночи в этой комнате, и зачем-нибудь взгляделась бы в темноту, ты бы вряд ли когда-нибудь увидела то, что я вытворяю сейчас. Как, замахнувшись на беззащитную фотографию сжатым кулаком, медленно разжимаю его, отвожу в сторону, а потом, сдавленно всхлипнув, прикасаюсь губами к самому её краю, словно к целебной иконе.